

Та третья. Генрик Сенкевич

I

За мастерскую, в которой мы со Святецким жили и работали, было не заплачено, во-первых, потому, что у обоих нас находилось всего-навсего около пяти рублей, а во-вторых, мы чувствовали чистосердечное отвращение к платежу квартирных денег. Товарищи нас называют мотами, а я первый предпочту пропить деньги, чем швырнуть их хозяину дома.

Что касается нашего хозяина, то он был человек не злой, и, к тому же, мы нашли средство справляться с ним.

Когда (обыкновенно это бывает утром) он приходит к нам с напоминанием, Святецкий, который спит на полу, на матраце, и покрывается турецкою занавеской, служащей нам фоном для портретов, приподнимается до половины и говорит гробовым голосом:

– Как я рад, что вижу вас! Мне снилось, что вы умерли.

Хозяин (человек с предрассудками и, видимо, боящийся смерти) приходит в необыкновенное смущение, а Святецкий падает на матрац навзничь, вытягивает ноги, складывает на груди руки и продолжает:

– Я видел вас таким же, как сейчас: на вас были белые перчатки с чересчур длинными пальцами и лакированные сапоги, но вообще вы мало изменились.

Тогда и я прибавляю в свою очередь:

– Такие сны не всегда сбываются.

Обыкновенно, это «не всегда» приводит хозяина в отчаяние. Кончается тем, что он впадает в гнев, хлопает дверями, и мы слышим, как он сходит с лестницы через четыре ступеньки, проклиная нас на чём свет стоит. Добрая душа не хотела, однако, присылать к нам судебного пристава.

Правда, у нас почти нечего было описывать; вероятно, хозяин понимал, что в этой мастерской и прилегающей к ней маленькой кухне поселятся другие художники, и дело пойдёт так же, если не хуже.

Однако лезвие нашего оружия со временем притупилось. Хозяин освоился с мыслью о смерти. Святецкий намеревался писать три картины, под названием «Кончина», «Похороны», «Пробуждение от летаргии». Конечно, во всех картинах должен фигурировать владелец нашего дома.

Такие гробовые предметы составляют специальность Святецкого, который, по его же словам, рисует «трупы», «трупщи» и «трупики». Вероятно, поэтому никто и не хочет покупать его картин, хотя у Святецкого несомненный талант. Он только что послал в парижский «Салон» два свои «трупщи», а так как и я отправил туда же своих «Жидов над Вислой», которых в каталоге «Салона» окрестили «Евреями на реках Вавилонских», то мы оба и ожидали с нетерпением решения жюри.

Натурально, Святецкий предвидел, что всё пойдёт как нельзя хуже, что жюри состоит из отборных идиотов, а хотя бы и не состояли, то я – идиот, картины наши идиотские, а премирование их было бы верхом идиотства!

Сколько это животное крови у меня испортило за те два года, что мы прожили вместе, и описать невозможно!.. Всё честолюбие Святецкого состоит в том, чтобы считаться нравственным «трупом». Среди посторонних он разыгрывает из себя пьяницу, хотя сам по себе вовсе не пьяница.. Вливает в себя две или три рюмки водки и оглядывается, замечаем ли мы; а если не уверен в этом, то толкает кого-нибудь из нас локтем и, смотря исподлобья, спрашивает подземным голосом:

– Правда, как я низко упал, а? – правда?

Мы отвечаем ему на это, что он глуп. Тогда он впадает в бешенство, и ничем невозможно его привести в самое скверное расположение духа, как неверием в его нравственное падение. При всём том, он чудеснейший парень с головы до ног.

Раз мы заблудились в горах в Зальцкаммергуте, около Zeell am See.

Так как наступила ночь и голову сломать было не трудно, то Святецкий говорит мне:

– Слушай, Владек, так как у тебя талант больше, то тебе больше и беречься надо. Я пойду вперёд.. Если слечу, ты просидишь на месте до утра, а утром как-нибудь найдёшь дорогу.

– Нет, – говорю, – ты не пойдёшь вперёд, пойду я; потому что у меня глаза лучше.

А Святецкий:

– Если я не сломаю шею здесь, то всё равно издохну в канаве, – мне один конец..

Мы начинаем спорить.

В это время делается темно, как в погребе. В конце концов, мы решаем бросить жребий. Бросаем.

Святецкий вытягивает узелок и идёт вперёд.

Мы подвигаемся. Сначала тропинка довольно широка, потом становится всё уже. Насколько можем судить, направо и налево – пропасти, почти бездонные.

Хребет становится ещё уже и, кроме того, обломки выветрившейся скалы скатываются вниз из-под наших ног.

– Я иду на четвереньках, иначе нельзя! – говорит Святецкий.

Действительно, иначе нельзя. Мы опускаемся на четвереньках и идём дальше, как два шимпанзе.

Но вскоре оказывается, что и из этого толку мало. Горный хребет становится не шире конского. Святецкий садится верхом, я за ним и, опираясь руками, мы оба подвигаемся вперёд с большим ущербом для нашей одежды.

Немного погодя я слышу голос Святецкого:

– Владек!

– Что такое?

– Хребет кончился.

– А дальше что?

– Пусто... должно быть пропасть.

– Возьми какой-нибудь камень и брось, – послушаем, долго ли он будет лететь.

В темноте я слышу, как Святецкий щупает руками, чтобы найти какой-нибудь камень, и потом говорит:

– Я бросаю, слушай!

Мы настораживаем уши.

Тишина.

– Ты ничего не слышал?

– Ничего!

– Хорошо мы устроились! Должно быть не меньше ста сажень.

– Брось ещё раз!

Святецкий находит более крупный обломок и бросает.

Ни малейшего звука.

– Что, там дна нет, что ли? – говорил Святецкий.

– Нечего делать, будем сидеть до утра.

Мы сидим. Святецкий ещё два раза бросает камень, – всё напрасно. Проходит час, другой, наконец я слышу голос Святецкого:

– Владек, смотри не задремли! Папиросы у тебя есть?

Оказывается, что папиросы у меня есть, а спичек нет у нас обоих. Беда, да и только! Теперь должно быть около часа ночи, а может быть и меньше.

Начинает капать мелкий дождь. Кругом – ни зги не видно. Я прихожу к убеждению, что, живя между людьми, в городах ли, в деревнях, мы не имеем понятия, что такое тишина. От той, которая окружает нас, даже в ушах звенит.

Я почти слышу, как кровь движется в моих жилах, а биение своего сердца слышу превосходно.

Сначала такое положение занимает меня.

Сидеть в глухую ночь, как на лошади, на скалистом хребте, над бездонною

пропастью – такой случай не представится какому-нибудь столичному франту; но вскоре мне делается холодно, а, вдобавок, Святецкий начинает философствовать:

– Что такое жизнь? Жизнь – попросту – одно свинство. Говорят: искусство, искусство! Пусть меня черти возьмут вместе с искусством!.. Чистое обезьянничание природы и, вдобавок к тому, подлость... Два раза, например, я видел «Салон». Наслали столько картин, что из этого полотна можно было бы нашить матрацы для всех жидов на свете, а что это было? – наиподлейшее угождение вкусам лавочников, какое только можно вообразить, рассчитанное на торговлю или на пополнение собственного брюха. Разврат искусства, ничего больше! Если бы там искусство было, то оно лопнуло бы со злобы; к счастью, настоящего искусства нет на свете, есть только природа... Быть может природа чего-нибудь стóит, хотя я думаю, что и природа – тоже свинство!.. Лучше всего было бы прыгнуть туда... и разом всё покончить. Я и прыгнул бы, если б у меня была водка; но так как водки у меня нет, то и не сделаю этого, потому что дал себе слово покончить жизнь в пьяном виде.

Я давно привык к болтовне Святецкого, но посреди этой тишины и глуши, в холоде, в темноте, над пропастью, его слова и меня настроили на унылый лад. К счастью, он выболтался, бросил ещё два раза камень, ещё два раза повторил: «ничего не слышно!» – и с той поры мы молчали часа три.

Мне сдавалось, что скоро должен наступить рассвет, как вдруг мы услышали над нашими головами карканье и шум крыльев.

Было ещё темно, и я не мог ничего рассмотреть, но был уверен, что это орлы начинают кружить над пропастью. «Кра! кра!» – раздавалось всё сильнее вверх и в темноте. Удивляло меня такое множество голосов, словно над нами пролегали легионы орлов. Но будь, что будет, – всё-таки они предвещали приближение дня.

И действительно, вскоре я увидел свои руки, опирающиеся на закраину хребта, потом вырисовались предо мною плечи Святецкого, точно чёрный силуэт на более светлом фоне. Этот фон бледнел с каждой минутой. Вот чудесный, бледно-серебристый тон скользнул по спине, по плечам Святецкого, начал насыщать темноту, как будто кто-нибудь вливал в неё серебристую жидкость, – мешался с ней, обращал её из чёрной в серую, из серой в жемчужную. Становилось сыро; не только скала, но и воздух казался мокрым.

С каждой минутой становилось всё светлей.

Я смотрю, стараюсь запомнить эту смену тонов и понемногу рисую их в глубине души, как вдруг крик Святецкого прерывает моё занятие.

– Тьфу, идиоты!

И плечи его исчезают из моих глаз.

– Святецкий! – кричу я, – что ты делаешь?

– Не визжи, смотри!

Я наклоняюсь, смотрю – что-то показывается. Я сижу на куче камней, аршинах в двух над уровнем лужайки. Мох заглушал стук камней; вдали видна дорога, на ней воробьи, которых мы приняли за орлов. Нам нужно было только спустить ноги, чтобы

преспокойно отправиться домой.

И так мы просидели на камнях, щёлкая зубами, целую ночь...

Не знаю, почему теперь, когда мы со Святецким ожидали нашествия хозяина, это приключение, случившееся года полтора тому назад, припомнилось мне так, как будто бы это было вчера.

Воспоминание это придало мне столько бодрости, что я сейчас же говорю Святецкому:

– Помнишь, Антек, как мы думали, что сидим над пропастью, а оказалось, что перед нами ровная дорога? Так же может быть и теперь. Мы бедны, как церковные крысы, хозяин хочет выкурить нас из мастерской, и всё это может сразу измениться. А ну, как откроется какой-нибудь шлюз со славой и презренным металлом?

Святецкий сидел в это время на матраце и натягивал сапог, ворча, что жизнь состоит из надевания сапог утром и снятия их вечером, и у того только есть ум, у кого хватает духу повеситься; если же он, Святецкий, до сих пор этого не сделал, то единственно благодаря тому, что он не только глупейший из дураков, но, вместе с тем, и подлый трус.

Взрыв моего оптимизма прервал его размышления. Он поднялся, посмотрел на меня своими рыбьими глазами и говорит:

– Тебе, конечно, есть чему радоваться. Недавно старик Сусловский выкурил тебя из дому и из сердца своей дочери, а сегодня хозяин выкурит тебя из мастерской.

Увы! Святецкий говорил правду. Три дня тому назад я был ещё женихом Кази Сусловской, а теперь, с утра вторника... да! именно во вторник я получил от её отца следующее письмо:

«Любезный пан Магурский!

Наша дочь, подчиняясь воле родителей, решается отказаться от союза, который грозил бы ей несчастьем. Она могла бы всегда найти приют на лоне матери и под кровлей отца, но обязанность наша заставляет предостеречь её от этой крайности. Не столько ваше материальное положение, сколько ваш легкомысленный характер, который вы не могли скрыть, несмотря на все старания, побуждает нас и нашу дочь возвратиться вам назад данное слово и прервать с вами все сношения, что, впрочем, не помешает нам искренно желать вам всего лучшего.

С почтением имею честь быть Гелиодор Сусловский, бывший начальник бывшей финансовой комиссии Ц. П.»

Таково было содержание письма.

Что при моём материальном положении довольно трудно было голодного пса из-под стола выманить, с этим я более или менее соглашался; но чего патетичный пан Сусловский хочет от моего характера, решительно не понимаю.

Голова Кази напоминает типы времён Директории; к ней бы великолепно шло, если бы она причёсывалась по тогдашней, а не по теперешней моде. Я пробовал просить её об этом несколько раз, но напрасно, – она ничего не понимает в подобных вещах. Зато колорит её лица такой тёплый, как будто бы его рисовал Фортунни.

Именно за это я страстно её любил и первый день после письма Сусловского ходил как убитый. Только на другой день, и то вечером, мне немного полегчало, когда я сказал самому себе: «нет так нет!» Больше всего мне помогало снести этот удар то, что в это время моя голова была занята «Салоном» и моими «жидами». Я был убеждён, что это приличная картина, хотя Святецкий пророчествовал, что её прогонят даже из сеней «Салона».

Начал я рисовать с год тому назад.

Дело было так:

Иду я себе вечером над Вислой, смотрю: лодка с яблоками разбилась. На берегу сидит всё жидовское семейство в таком отчаянии, что даже и не вопит, – заломили жида руки и смотрят на воду, как статуи. Тут старый жид, патриарх, старая жидовка, молодой жид, колоссальное животное, как Маккавей, молодая девушка, немного веснушчатая, но с огромным характером в рисунке носа и губ, наконец двое жиденят. Вечер спускается; река отливает медными рефlekсами, – просто чудо. Деревья все в огне, дальше опять вода, тоны багряные, тоны ультрамариновые, тоны то почти стальные, то снова переходящие в пурпурные и фиолетовые. Воздушная перспектива – роскошь; переходы от одних тонов к другим такие неуловимые, чудные, что просто дух захватывает, – кругом тихо, светло, спокойно. Надо всем разлита такая меланхолия, что хочется плакать, и эта группа – в отчаянии, сидящая так, как будто все они от малого до большого позируют в мастерской.

У меня сразу в голове прояснилось: вот моя картина!

Ящик с красками был при мне, – без него я не хожу. Я тотчас же начал набрасывать эскиз, а перед этим сказал жидам:

– Сидите так, не трогайтесь!.. По рублю каждому до сумерек.

Мои жида сразу поняли, в чём дело, и сидят как вкопанные. Я всё рисую, рисую, рисую...

Мало-помалу, совершенно неожиданно для меня, группа начинает приходить в хорошее расположение духа.

– Жида! – кричу я, – горюйте!

А старуха отвечает:

– Чего нам горевать, коли вы обещали нам по рублю? Пускай горюет тот, у кого заработка нет!

Я должен был пригрозить им, что ничего не заплачу.

Однако мне пришлось набрасывать эскиз два вечера подряд; потом жида два месяца позировали у меня в мастерской.

Пусть Святецкий говорит, что хочет, – картина хорошая, вовсе не холодная; в ней и правда, и пропасть натуры. Я даже оставил молодой жидовке её веснушки. Лица могли бы быть более красивыми, но не могут быть более правдивыми и иметь больше характера.

Чем больше я думал об этой картине, тем легче переносил утрату Кази. И вот, когда Святецкий напомнил о ней, мне показалось, что это было Бог знает как давно. Святецкий натянул другой сапог, а я начал наставлять самовар.

Пришла с булками старуха Антониха (Святецкий в течение года – и, притом, совершенно напрасно – уговаривает её повеситься) и мы засели за чай.

– С чего ты сегодня такой весёлый? – сердито спрашивает меня Святецкий.

– Почём я знаю... Увидишь – нам предстоит какая-то неожиданность.

В эту минуту мы слышим треск лестницы, ведущей в мастерскую.

– Хозяин... Вот тебе твоя неожиданность! – говорит Святецкий.

Он чуть не давится горячим чаем, вскакивает; а так как наша кухня проходная, – прячется в мастерской за костюмы и кричит из своего прикрытия задыхающимся голосом:

– Душечка, он тебя ужасно любит, поговори с ним!

– Он обожает тебя, – отвечаю я и тоже лечу к костюмам, – поговори лучше ты!

В это время двери отворяются и входит... кто? – не хозяин, а сторож дома, в котором живут Сусловские.

Мы выходим из-за костюмов.

– Письмо к вам, – говорит сторож.

Беру письмо... Клянусь Гермесом, от Кази! Разрываю конверт и читаю следующее:

«Я уверена, что папа и мама простят нас. Приходите сейчас, несмотря на раннее время. Мы только что возвратились с вод, из сада. – К.»

Собственно говоря, я не знаю, за что папа и мама должны меня простить, но мне нет времени думать об этом; голова моя кругом идёт от удивления...

Только спустя несколько минут я подаю письмо Святецкому и говорю сторожу:

– Любезный, скажи барышне, что сейчас приду... Постой!.. У меня нет мелких, вот тебе три рубля (последние!), разменяй, рубль возьми себе, а мне принеси сдачу.

Говоря к слову, это чудовище, взявши три рубля, больше не показывалось. Знало животное, что я не стану поднимать шум в доме Сусловских.

– Ну, что? – спрашиваю Святецкого.

– Ничего, каждый телёнок найдёт своего мясника!

Поспешность, с которой я одевался, не позволила мне подыскать надлежащий ответ и достойно отразить дерзость Святецкого.

II

Спустя четверть часа я звоню у Сусловских.

Отпирает мне сама Казя. Она прелестна... От неё веет теплотой сна и утреннюю свежестью, которую она принесла из сада в складках своего светло-голубого ситцевого платья. Снимая шляпу, она слегка растрепала свои волосы. Лицо её смеётся, глаза смеются, влажные губки смеются, – олицетворение утра... Я хватаю её руки и начинаю целовать до локтей; она же наклоняется к моему уху и спрашивает:

– А кто сильнее любит?

Потом она ведёт меня за руку к своим родителям. У старика Сусловского лицо римлянина, обрекающего на смерть *pro patria*[1] единственное своё детище; мать роняет слёзы в кофе, – оба они сидят за кофе. Оба они встанут при виде нас, и пан Суловский изрекает:

– Разум и обязанности повелевали бы мне сказать: нет, – но у родительского сердца есть другие права; если же кто-нибудь скажет, что это – слабость, то пусть меня за неё Бог судит.

Тут он поднимает глаза в доказательство, что готов ответить в случае, если небесный трибунал немедленно приступит к составлению протокола. Во всю жизнь свою я не видал ничего более римского, кроме салями и макароны, которые продаются на Корсо. Минута так торжественна, что любой гиппопотам лопнул бы от волнения. Торжественность эту ещё более усиливает пани Суловская, которая разводит руками и говорит плачевным голосом:

– Дети мои! если когда-нибудь вам будет плохо на свете, вы можете найти убежище здесь... здесь!

Говоря это, она указывает на свою грудь.

Нашла дурака! Нет, уж я не буду искать убежища там... там!.. Вот если бы Казя сделала мне подобное предложение, тогда дело другое... Несмотря на всё это, я поражён благородством Суловских, и сердце моё преисполнено благодарностью.

В волнении я выпиваю столько чашек кофе, что Суловский начинает бросать беспокойные взгляды на кофейник и сливки. Казя мне всё подливает, а я стараюсь в это время прижать ногою её ножку под скатертью. Но Казя отдёргивает ножку, так шельмовски улыбаясь, что я не понимаю, как у меня сердце не выскочит вон.

Я сижу полтора часа, но, наконец, должен удирать, потому что в мастерской меня ждёт Бобусь, который берёт у меня уроки рисования и оставляет мне каждый раз билет с гербовою печатью; впрочем, эти билеты у меня не удерживаются. Казя и мать провожают меня до прихожей, за что я страшно злюсь. Я предпочитал бы, чтобы Казя провожала меня одна. Какие у ней губки!..

Моя дорога лежит через сад. Множество народа ещё возвращается с вод... По дороге я вижу, что все, завидев меня, останавливаются, слышу вокруг себя шёпот: «Магурский! Магурский! это он...» Панны, одетые в разноцветные лёгкие материи, под которыми чудесно рисуются их формы, как будто хотят сказать: «Войди, чертог готов!» Что за чертовщина! Неужели моя слава так далеко распространилась? Решительно ничего не понимаю.

Иду дальше, и дальше – то же самое... В сенях, у лестницы, наскокиваю на хозяина, как ладья на скалу. Ой, плати за квартиру!

Хозяин приближается и говорит:

– Пан Магурский! хотя я по временам надоедал вам, но верьте, мои чувства... позвольте уж мне попросту! – Он схватывает меня за шею и обнимает. А, понимаю! Святецкий сказал ему, что я женюсь, а он думает, что с этой поры я буду аккуратно платить за квартиру. Пусть себе думает на здоровье.

Жарю на лестницу. Уже по дороге слышу говор у нас. Вхожу. В мастерской темно от дыму. Тут Юлек Жисиньский, Вах Потеркевич, Франек Ценковский, старик Студецкий, Карминьский, Войтек Михалек, – все тормозят франта Бобуся, но, завидев меня, отпускают его и поднимают нечеловеческий крик:

– Поздравляем! поздравляем! поздравляем!

– Качать его!

В одно мгновение они подхватывают меня на руки и подбрасывают кверху, с воем достойным стаи волков; наконец, я оказываюсь на своих ногах, благодарю всех, как могу, и заявляю, что все должны быть на моей свадьбе, в особенности Святецкий, которого я заранее назначаю своим шафером.

В это время Святецкий поднимает руку и говорит:

– Этот пузырь думает, что мы его поздравляем с невестой.

– А с чем же вы меня поздравляете?

– Как, ты ничего не знаешь? – спрашивают все голоса.

– Ничего не знаю. Какого чёрта вам от меня нужно?

– Дайте ему «Летучие Листки», утренний номер «Летучих Листков»! – кричит Вах Потеркевич.

Мне суют утренний номер «Летучих Листков» и кричат наперерыв один перед другим: «смотри в телеграммах!» Смотрю в телеграммах и читаю следующее:

«Собственная телеграмма „Летучих Листков“. Картина Магурского „Евреи на реках Вавилонских“ получила большую золотую медаль в нынешнем „Салоне“. Альберт Вольф назвал её открытием. Критик не находит достаточно слов для восхваления гения художника. Барон Гирш даёт за картину 15.000 франков».

Мне дурно, помогите! Я глупею до такой степени, что не могу ни слова вымолвить. Я знал, что картина удалась, но о таком успехе и не думал.

Номер «Летучих Листков» выпал из моих рук.

Я поднимаю его и читаю ещё в текущих известиях следующие комментарии к телеграмме:

Известие I-е. Мы узнали от самого автора, что он намерен выставить свою картину

в городе.

Известие II-е. На вопрос вице-президента комитета товарищества поощрения изящных искусств, думает ли пан Магурский выставить своё великое произведение в Варшаве, маэстро отвечал: «Я предпочёл бы не продать её в Париже, чем не выставить в Варшаве!» Мы надеемся, что слова эти потомки будут читать (дай Бог, в самом отдалённом будущем) на могиле маэстро.

Известие III-е. Мать нашего маэстро, по получении телеграммы из Парижа, тяжело занемогла от волнения.

Известие IV-е. Во время печатания этого номера мы узнали, что матери нашего маэстро легче.

Известие V-е. Наш маэстро получил приглашение выставить свою картину во всех европейских столицах.

Изобилие такого гнусного вранья заставляет меня понемногу опомниться. Остшинский, редактор «Летучих Листков» и, вместе с тем, ех-жених Кази, должно быть ошалел, потому что переходит всякие границы. Понятно, я выставлю картину в Варшаве; но, во-первых, я никому ещё об этом не говорил; во-вторых, вице-президент товарищества поощрения изящных искусств ни о чём меня не спрашивал; в-третьих, я ему ничего не отвечал; в-четвёртых, моя мать умерла десять лет тому назад; в-пятых, я не получал ни откуда приглашений выставить мою картину.

Ещё хуже: в одно мгновение мне приходит в голову, что если телеграмма так же верна, как пять известий, то... Остшинский, который, полгода тому назад, несмотря на поддержку родителей, получил от Кази нос, может нарочно заставить меня разыграть роль дурака, но, в таком случае, «он заплатит мне за это головой или чем-нибудь вроде этого», как говорит либретто одной оперы. Товарищи, однако, успокаивают меня, что известия Остшинский мог сфабриковать, но телеграмма должна быть настоящая.

Вместе с этим приходит Стах Клоссович с утренним номером «Скоророда». Телеграмма есть и в «Скоророде». Я вздыхаю свободнее.

Теперь начинаются поздравления в розницу.

Старик Студецкий, скотина фальшивая до мозга костей и сладкая как сахар, потрясает мою руку и говорит:

– Боже милосердый! я всегда верил в ваш гений, коллега, всегда защищал вас... (а знаю, вы называли меня ослом...), но... Боже праведный... может быть вы не хотите, чтобы такой fa-presto, как я, называл вас, коллега, коллегой... в таком случае, коллега, простите мою привычку...

В глубине души я желаю ему провалиться, но не могу ничего сказать, потому что в эту же минуту меня отводят в сторону Карминьский и говорит тихо, но так, что его все слышат:

– Может быть вам нужны деньги?.. Скажите только – и я... того...

Карминьский известен среди нас своею готовностью помогать ближним. Не проходит

дня, чтоб он не сказал кому-нибудь из нас: «Если вы, коллега, нуждаетесь, то шепните мне словечко, а я того... до свидания!» У него действительно есть деньги. Я отвечаю ему, что если не достану в другом месте, то обращусь к нему. Тем временем подходят другие, всё добрые малые, и тискают меня в объятиях так, что у меня бока начинают болеть. Наконец, ко мне приближается Святецкий; я вижу, что он взволнован. Но Святецкий скрывает своё волнение и говорит резко:

– Хотя я вижу, что ты жидеешь, но всё-таки поздравляю!

– Хотя я вижу, что ты глупеешь, но всё-таки благодарю! – отвечаю я, и мы обнимаемся изо всей силы.

Вах Потеркевич заявляет, что у него в горле пересохло. У меня нет ни гроша, но у Святецкого есть два рубля, у других – тоже в скромных размерах. Наступает складчина и – пунш... Пьют моё здоровье, качают меня на руках, а когда я заявляю, что дело с Сусловскими налажено, пьют и за здоровье Кази. Тогда Святецкий подходит ко мне и говорит:

– Ты думаешь, молодой идиот, что они не читали газет перед тем, как панна написала тебе записку?

Ай, гнусная рожа! словно обухом меня в лоб угодил. С одной стороны кругозор мой значительно расширяется, с другой – дьявольски омрачается. От Суловских всего ожидать можно, но чтобы Кáзик была способна на такие соображения...

Однако, очень правдоподобно, что утром они прочли телеграммы и тотчас же послали за мной.

В первую минуту я хочу лететь к Суловским, но не могу оставить компании.

Приходит Остшинский, элегантный, холодный, самоуверенный, в свежих перчатках, по обыкновению. Прожённая бестия!

Уже с порога он начинает покровительственно помахивать тросточкой и говорит:

– Поздравляю, маэстро, и я поздравляю.

Это я он произносит с особым ударением, как будто поздравление от него значит больше, чем от кого бы то ни было.

Очень может быть, что и так...

– Что ты тут нагородил? – кричу я. – Как видишь, я только из «Летучих Листков» узнал обо всём.

– Это меня вовсе не касается, – говорит Остшинский.

– О выставке картины я не говорил.

– Но теперь говоришь, – флегматически отвечает Остшинский.

– И матери у него нет! – кричит Войтек Михалек.

– Это мало меня интересует, – с достоинством возражает Остшинский и снимает

другую перчатку.

– Но телеграмма-то – настоящая?

– Настоящая.

Это утверждение успокаивает меня окончательно. Движимый чувством благодарности, я наливаю ему пуншу. Он прикасается губами к стакану, выпивает глоток и потом говорит:

– Прежде всего, твоё здоровье, а второй глоток в выпью... знаешь за чьё?.. Поздравляю тебя вдвойне.

– Откуда ты это узнал?

Остшиньский пожимает плечами.

– Потому что Сусловский был сегодня в редакции в восьмом часу.

Святецкий начинает что-то ворчать о человеческой подлости вообще, я не могу больше выдерживать и хватаюсь за шляпу. Остшиньский выходит вместе со мной, но я оставляю его на дороге и через несколько минут во второй раз звоню к Суловским. Отворяет мне дверь Казя, – отца и матери нет дома.

– Кáзик! – говорю я сурово, – ты знала о телеграмме?

– Знала, – отвечает она спокойно.

– Ах, Кáзик!..

– Чего же ты хочешь, мой милый? Не удивляйся, папа и мама... нужен же им какой-нибудь уважительный повод, чтобы согласиться на твою просьбу.

– Но ты, Казя?

– А я воспользовалась первой возможностью... Ты не поставишь мне это в вину, Владек?

В глазах у меня проясняется; мне кажется, что Казя вполне права. Собственно говоря, зачем я сюда прилетел, как сумасшедший? Тем временем Казя приближается и кладёт головку на моё плечо; я обнимаю её за талию, она перегибается через мою руку, закрывает глаза и шепчет:

– Нет, нет, Владек... не теперь... после свадьбы... умоляю тебя!

Вследствие её просьбы я крепко целую её. Глаза Кази покрываются какой-то дымкой. Она закрывает их рукою и говорит:

– А я так просила, чтобы ты не...

Выговор и взгляд из-под руки растрогивают меня до такой степени, что я целую её во второй раз. Когда кто-нибудь кого-нибудь любит, то естественно чувствует бóльшую охоту целовать любимое существо, чем, например, бить его... А я люблю Казю без меры и памяти, всю жизнь, до смерти и после смерти. Она или никто – и баста!

Казя задыхающимся голосом высказывает опасение, что я потеряю к ней уважение. Дорогая девочка! какие глупости она болтает! Я успокаиваю её, как могу, и мы начинаем говорить рассудительно.

Между нами составляется уговор, что если Сусловские притворятся, что о телеграмме узнали после, то я не подам вида... Затем я прощаюсь с Казей и обещаю прийти вечером.

Мне необходимо бежать в канцелярию общества поощрения изящных искусств: через неё мне легче всего войти в сношения с секретариатом «Салона».

III

Я посылаю телеграмму с заявлением, что согласен на цену барона Гирша, но перед этим решил выставить картину в Варшаве etc.

На посылку телеграммы, а также и на другие потребности, занимаю деньги в правлении. Мне дают без колебания. Всё идёт как по маслу...

В «Летучих Листках» и «Скоророде» выходит моя биография, в которой нет ни слова правды, но, как говорит Остшинский, «это меня вовсе не касается». Я получил также приглашение от двух иллюстраций. Хотят поместить мой портрет и снимок с моей картины. Хорошо!

Денег будет вволю.

IV

Неделю спустя я получаю задаток от барона Гирша.

Вся сумма будет выплачена, когда собственник вступит в обладание полотном, а пока торговый банк вываливает мне на стол пять тысяч франков золотом. С роду я не видал столько денег. Возвращаюсь домой нагруженный как мул.

В мастерской целое собрание. Я разбрасываю свои луидоры по полу, и так как никогда не купался в золоте, то начинаю купаться в золоте. После меня купается Святецкий... Приходит хозяин и думает, что мы помешались... Мы забавляемся как людоеды.

V

В один из следующих дней Остшинский говорит мне, что чувствует себя счастливым вследствие несогласия Казы выйти за него замуж, – перед ним открывается перспектива, о которой я не могу иметь ни малейшего представления.

Я очень этому радуюсь или, вернее сказать, мне это решительно всё равно. Притом я уверен, что Остшинский сумеет проложить себе дорогу в жизни.

Когда он ухаживал за Казей, старики были на его стороне, в особенности отец. Влияние Остшинского на пана Суловского было так сильно, что этот римлянин в его присутствии утрачивал свою непоколебимую статуиность. Зато Казя не терпела его с первой минуты знакомства. То было какое-то безотчётное отвращение, ибо я уверен, что он не поражае её тем, чем поражает меня и всех других, знающих его покороче.

Это очень странный человек или, вернее, странный писатель. Не только у нас, но,

вероятно, и во всех больших центрах литературы и искусства есть люди, о которых мы не можем вспомнить без того, чтобы невольно не спросить себя, откуда берётся их важность.

К числу таких людей принадлежит мой приятель из «Летучих Листков». Кто бы поверил, что тайна значения Остшиньского и смысл его нравственного существования заключаются в том, что он, Остшиньский, не признаёт и не уважает талантов, в особенности писательских, и попросту живёт пренебрежением к ним?.. Он питает к ним презрение человека, которому жизненная ловкость, быстрота соображения и большое остроумие обеспечивают верную победу над ними в общественной жизни.

И нужно его видеть на сессиях, на собраниях художественных и литературных, на юбилейных обедах, – с какою снисходительной иронией он трактует людей имеющих неизмеримо большее значение, чем сам Остшиньский, как он их прижимает к стене, как сбивает их своими софизмами, своею логикой, как обдаёт их своею литературною важностью.

Святецкий, как только вспомнит о нём, то хватается за доску от кровати, чтобы разбить ему голову. Но меня не удивляет успех Остшиньского. Люди истинно талантливые часто бывают неловки, несмелы, ненаходчивы... Но лишь только истинный талант остаётся наедине сам с собою, у его плеч сейчас же вырастают крылья. Остшиньский же, в таких условиях, вероятно, ложится спать, потому что ему абсолютно не о чем беседовать с самим собою.

Будущее расставит всех этих людей в порядке, назначит каждому своё место, каждому присвоит соответственный чин. Остшиньский настолько умён, что знает это, но в глубине души смеётся над будущим. Ему достаточно, что в настоящем он кое-что значит и что с ним считаются больше, чем со многими почище его.

Мы, живописцы, меньше ему мешаем. Он иногда рекламирует и писательские таланты, но лишь тогда, когда этого требуют интересы «Летучих Листков» или конкуренция со «Скорходами». В конце концов, он добрый товарищ и милый человек. Я могу даже сказать, что люблю его, но...

Впрочем, ну его к чёрту, – довольно о нём...

VI

Меня когда-нибудь доведут до того, что я уйду и захлопну дверь.

Что за комедия! С тех пор, как на меня свалились слава и деньги, Сусловский, вопреки моим предположениям, обходится со мной просто презрительно... Он, его жена и все родственники Кази обдают меня холодом.

Однажды вечером Сусловский заявил, что если я думаю, что на их решение повлияла перемена в моей судьбе, или если я допускаю, – как видно по моей манере держать себя, – что я им делаю честь, то, несмотря на свою готовность жертвовать многим для счастья своего детища, они не могут пожертвовать даже ему своим человеческим достоинством. Мамаша прибавила, что детище знает, где искать убежища. Добрая Казя выступает на мою защиту, по временам даже с очень большою энергией, но папа и мама не обращают внимания на мои слова.

Едва я раскрою рот, Сусловский закусывает губы, поглядывает на жену и кивает головой, как будто хочет сказать: «Я знал, что этим кончится!» Такое пиление продолжается с утра до вечера.

И подумать, что всё это притворство пускается в ход для того, чтобы держать меня в сетях, что, в сущности, они зарятся на мои пятнадцать тысяч франков и что им породниться со мною хочется, также как и мне с ними, хотя соображения наши совсем различного свойства...

Пора кончить!

Они довели меня до того, что по временам мне самому представляется, будто я действительно совершил какую-то подлость, получив золотую медаль и пятнадцать тысяч франков за картину.

VII

Подходит день моего обручения.

Я купил хорошенькое колечко в стиле Louis XV, но оно не понравилось не только Сусловским, но даже и Казе, потому что во всём этом доме никто не имеет понятия о настоящем искусстве.

Над Казей я должен ещё долго работать, чтоб отучить её от мещанских вкусов; но так как она любит меня, то я не теряю надежды.

На обручение я не приглашал никого, кроме Святецкого. Мне хотелось, чтоб он перед этим побывал с визитом у Суловских, но Святецкий твердит одно, что, будучи физическим и моральным банкротом, он ещё не сделался до такой степени подлецом, чтобы ходить с визитами... Поди поделай с ним что-нибудь!

Я заранее предупреждаю Суловских, что мой приятель – страшный оригинал, но, вместе с тем, гениальный живописец и самый лучший человек во всём свете.

Суловский, узнав, что мой приятель рисует «трупы», «трупики» и «трупца», поднимает брови и заявляет, что до сих пор вёл знакомство с людьми порядочными, что вся его чиновничья карьера ничем не запятнана, и выражает надежду, что пан Святецкий почтительно отнесётся к обычаям, установленным в его честном, хотя и скромном доме.

Признаюсь, в этом отношении я не свободен от некоторых опасений и с утра воюю со Святецким. Он упирается, что пойдёт в высоких сапогах. Я усовещиваю, упрашиваю, умоляю.

Наконец, он соглашается, заявляя, что, в конце концов, не видит резона, по которому ему не следовало бы быть шутком. Одна беда: его сапоги напоминают сапоги плантаторов средней Африки, потому что не видали ваксы с той поры, когда их принесли в долг от сапожника. Что ж делать?

Ещё хуже, что голова Святецкого напоминает карпатский хребет, покрытый буреломом. С этим я должен примириться, потому что на свете нет скребницы, которой бы покорились волосы Святецкого, но зато уговариваю его, вместо блузы, в которой он ходит обыкновенно, надеть сюртук. Святецкий сюртук надевает с миною одного из своих «трупца» и впадает в мрачное настроение духа.

На улице прохожие оглядываются на его суковатую дубину и огромную дырявую шляпу, но к этому я уже привык.

Мы звоним и входим.

В прихожей до нас доходит голос кузена Ячковича, скорбящего над непомерным ростом населения. Кузен Ячкович всегда толкует о непомерном росте населения, – это его конёк. Казя словно облачко в волнах кисеи. Сусловский во фраке, родственники во фраках, старые тётки в шёлковых платьях.

Появление Святецкого производит сенсацию. Все оглядывают его с некоторым беспокойством... Он угрюмо осматривается вокруг и заявляет Сусловскому, что, наверное, не стал бы надоедать ему своим присутствием, если бы не свадьба Владека «или что-то в этом роде»...

Это «что-то» принимается всеми как нельзя хуже. Сусловский с достоинством выпрямляется и спрашивает, что пан Святецкий подразумевает под «чем-то вроде этого?..» Пан Святецкий отвечает, что ему всё равно, но что для Владека он готов даже расшаркиваться и приседать, в особенности, если бы знал, что пану Сусловскому это может доставить удовольствие... Мой будущий тесть посматривает на жену, на меня и на Казю взором, в котором изумление смешивается с негодованием.

К счастью, я выхожу из неловкого положения и с редким для меня присутствием духа прошу будущего тестя представить меня тем родственникам, которых я ещё не имею чести знать.

Происходит представление, затем мы садимся.

Казя усаживается около меня и оставляет свою руку в моих руках. В комнате много народу, но все молчат и не двигаются. Атмосфера становится тяжёлой.

Кузен Ячкович возвращается к вопросу о непомерном росте населения. Мой Святецкий смотрит под стол. В тишине всё громче раздаётся голос Ячковича (у него нет переднего зуба, а потому он всегда издаёт протяжный свист при выговоре буквы ш).

– Из этого для Европы могут выйти ужасные несчастья, – говорит Ячкович.

– Эмиграция... – вставляет кто-то сбоку.

– Статистика показывает, что эмиграция не в состоянии бороться с непомерным ростом населения.

Вдруг Святецкий поднимает голову и смотрит своими рыбьими глазами на говорящего.

– Тогда нужно у нас ввести китайские обычаи, – говорит он могильным басом.

– Позвольте... как это... китайские обычаи?

– В Китае родители имеют право душить слабых детей, – ну, так вот нужно, чтоб у нас дети имела право душить слабых родителей.

Свершилось! Гром грянул, диван застонал под тётками, а я пропал. Сусловский закрывает глаза и на некоторое время теряет дар слова.

Молчание.

Потом раздаётся дрожащий от негодования голос моего будущего тестя:

– Милостивый государь, надеюсь, как христианин...

– Почему я непременно должен быть христианином? – перебивает Святецкий, угрожающе покачивая головой.

Другой громовой удар! Диван с тётками начинает дрожать как в лихорадке, вот-вот полетит в пропасть... Я также чувствую, что земля подо мною расступается.

Всё пропало, все надежды рассеялись как дым!

Вдруг раздаётся звучный, как колокольчик, смех Кази, за ней начинает смеяться, сам не зная чему, Ячкович, за Ячковичем начинаю смеяться, тоже сам не зная чему, и я.

– Папа! – восклицает Казя, – Владислав предупреждал вас, что пан Святецкий оригинал. Пан Святецкий шутит. Его мать ещё жива, и он очень любит её!

Что за шельма девчонка эта Казя! Она не только придумала, но догадалась, что у Святецкого действительно есть мать и что он действительно очень любит её.

Смех Кази отвлекает общее внимание. Появляется слуга с вином и пирожным. Это тот самый сторож, который стащил мою последнюю трёхрублёвку, но теперь его нарядили во фрак и он выступает важно, как настоящий лакей. Глаза его устремлены на поднос, хрусталь дребезжит, а сторож подвигается так медленно, как будто несёт сосуд полный до краёв. Я начинаю опасаться, как бы он не уронил поднос на пол; к счастью, мои опасения не осуществляются...

Рюмки наполняются. Мы приступаем к акту обручения.

Малолетняя кузина держит фарфоровую тарелку, на которой лежат два кольца. От любопытства глаза её готовы выскочить и вся церемония, видимо, доставляет ей такое наслаждение, что она даже подпрыгивает с тарелками и кольцами. Сусловский встаёт, все встают, слышен стук отодвигаемых стульев.

Настаёт тишина. Я слышу, как одна матрона шёпотом передаёт другой замечание, что моё кольцо «как будто бы получше». Несмотря на это замечание, настроение такое торжественное, что мухи на лету падают мёртвыми.

Сусловский начинает говорить:

– Дети мои, примите благословение родителей.

Казя становится на колени; я тоже становлюсь на колени.

Какую, должно быть, теперь рожу скорчил Святецкий, – Господи, какую рожу!

Но я не смею на него смотреть. Я гляжу на кисейное платье Кази, которое на полинялом красном ковре образует красивое пятно. Руки Суловского и пани Суловской опускаются на наши головы, после чего мой будущий тесть говорит:

– Дочь моя! ты имела возможность пользоваться лучшим примером, чем должна быть добрая жена для мужа; мне нет надобности говорить о твоих будущих обязанностях, – потом, со временем, тебя научит муж (надеюсь!)... Но я обращаюсь к вам, пан

Владислав...

Тут следует речь, во время которой я насчитываю до ста и начинаю считать вновь с единицы. Сусловский-гражданин, Сусловский-чиновник, Сусловский-отец, Сусловский-римлянин – обладает великою способностью выставлять на вид всё величие своей души... Слова: дитя, родители, обязанности, будущность, благословение, терния, чистая совесть – жужжат около моих ушей: как рой ос, облепляют мою голову, жалят в лоб, в затылок.

Вероятно, галстук мой повязан чересчур туго, потому что мне становится трудно дышать. Я слышу рыдания пани Суловской, и мне становится жалко бедную женщину, слышу, как кольца бренчат на тарелке в руках попрыгуньи кухни. Господи, Господи! какую теперь рожу скорчил Святецкий!

Наконец мы встаём. Кухина суёт мне тарелку под нос. Мы обмениваемся с Казей кольцами.

Ура!.. Итак, мы обручены. Я думал, что это конец, но нет: Суловский посылает нас просить благословения у всех тёток.

Мы идём. Я целую подряд пять рук, скорее похожих на лапы аиста... Все тётки надеются, что я не обману их надежд.

Какие, к чёрту, надежды они могут возлагать на меня? Кузен Ячкович заключает меня в объятия. Несомненно, галстук у меня повязан чересчур туго.

Но, как бы то ни было, самая тяжёлая минута миновала. Смеркается. Приносят чай.

Я сижу около Кази и притворяюсь, что не вижу Святецкого. Это животное ещё раз повергает меня в тревогу, когда на вопрос, не хочет ли он подлить себе в чай немного араку, отвечает, что арак пьют только бутылками. Впрочем, вечер оканчивается благополучно.

Мы выходим со Святецким молча. Это молчание мало-помалу начинает меня тяготить и под конец становится невыносимым. Я чувствую, что надо заговорить со Святецким, сказать что-нибудь о моём счастье, о том, как всё хорошо прошло и как я люблю Казю... Я собираюсь с духом, – нет, чёрт возьми, не выходит! Наконец, уже у самой мастерской я говорю:

– Признайся, Святецкий, что в жизни бывают и хорошие минуты.

Святецкий останавливается, бросает на меня взор исподлобья и отвечает:

– Дурак!

В этот вечер мы ничего больше не говорили друг с другом.

VIII

Спустя неделю после обручения мои «жиды» пришли на выставку.

Картину поместили в отдельную комнату, комитет назначил особую плату за вход. Половина чистого дохода идёт в мою пользу.

На выставке толкотня с утра до вечера.

Я был только один раз, но так как на меня самого смотрели больше, чем на картину, то больше не пойду, потому что это начинает меня злить.

Будь моя картина чудом, которого до сих пор не бывало на свете, публика всё-таки охотней пойдёт смотреть на «крао» или готтентота, пожирающего живых голубей.

Таким готтентотом в настоящую минуту являюсь я... Я был бы очень доволен этим, если бы действительно был дураком, как утверждает Святецкий. Но я настолько художник, что не могу не злиться при виде унижения искусства в пользу моей собственной персоны...

IX

Три недели тому назад обо мне едва ли кто слышал, а теперь я начинаю получать десятки писем, по большей части любовных. Из пяти – четыре непременно начинаются словами: «прочтя это письмо, вы, вероятно, с презрением отвернётесь от женщины, которая», etc. Я не отвернусь с презрением от этой женщины, с условием, чтоб она оставила меня в покое.

Если бы не Казя, то, говоря по совести, я может быть не пожимал бы так плечами при виде этого потока чувств.

Главное, меня занимает, как может «незнакомая особа» рассчитывать, чтобы мужчина, который не видал её ни разу в жизни, ответил на её воззвание. Приподними маску, о прекрасная незнакомка! О, только когда я увижу тебя, то скажу... Ой-ой! ничего не скажу, а то Казя...

Я получил от какой-то седовласой доброжелательницы письмо, в котором я именуюсь творцом, а Казя – гусыней.

«Жена ли она для вас? – спрашивает мой седовласый друг. – Выбор этот достоин ли того, на которого обращены глаза всего света? Вы жертва интриги» и т. д.

Странное предположение и ещё более странное требование, чтоб я женился не по велению сердца, а для удовлетворения общественного мнения.

Бедная Казя! Чем она им помешала?

Вероятно, некоторые преступления приносят больший вред, чем анонимные письма, но никто не доставляет большего... как бы это получше сказать? Ну, да всё равно!

День нашей свадьбы ещё не назначен, но он скоро наступит.

Тем временем я приказываю Казе получше принарядиться и веду её на выставку.

Пусть нас видят вместе.

Пришли из Парижа и два «трупца» Святецкого.

Картина называется «Последняя встреча» и представляет молодого человека и молодую девушку, лежащих на операционном столе. Мысль художника при первом взгляде видна совершенно ясно. Видно, что двое умерших любили друг друга при жизни, что их разлучила бедность и соединила смерть.

Студенты, склонившиеся над трупами, вышли несколько деревянными, в перспективе операционной залы замечаются некоторые недостатки, зато «трупщица» вырисована великолепно, – такие трупы, что от них даже холодом веет. В «Салоне» картина не имела никакого успеха, может быть, потому, что трупы, действительно, отвратительны, но критика её хвалила.

Среди нашей «малярии», несомненно, много талантов. Например, возле «трупщица» Святецкого Франек Ценковский выставил «Смерть Кордецкого». Огромная сила и огромный индивидуализм! Святецкий называет Франка идиотом, во-первых, потому, что Ценковский носит чёлку и бороду клинышком; во-вторых, одевается по последней моде и, в-третьих, он хорошо воспитан, церемонен и очень часто вспоминает о своих высокопоставленных родственниках.

Но Святецкий ошибается..

Талант – это птица, которая гнездится, где ей понравится, иногда в глухом лесу, иногда в подстриженном парке.

В Мюнхене и Париже я видал таких художников, которые походили на сапожных подмастерий или, наоборот, на парикмахеров, на франтов дурного тона. Трёх копеек бы не дал за них, между тем как в душе и у той, и у другой бестии живёт такая экзальтация, такое понимание образов и красок и способность переносить всё это на полотно! Остшинский, у которого на всякий случай есть какое-нибудь истрёпанное выражение, если бы писал об этом, то сказал бы в своих «Летучих Листках»: «spiritus flat ubi vult!»

По мнению Святецкого, историческая живопись – «невозможное варварство». Он не рисует исторических вещей и для меня это всё равно, но я слышу, что подобное мнение в разных кружках начинает считаться либеральным. Это мне начинает надоедать.

У наших художников-поляков один недостаток: они вступают в брачный союз с какими-то доктринами об искусстве, а потом и живут под их башмаком, на всё смотрят их глазами, напяливают на них искусство и лучше проповедуют, чем рисуют. В противоположность тому, что я сказал выше, мне приходилось сталкиваться и с такими художниками, которые языки себе поотрепали в спорах о том, что такое искусство и каким оно должно быть, а как пришлось взяться за кисть, то и оказалось, что дело плохо.

Я не раз думал, что теории искусства должны выдумывать философы, и если выдумают плохую, пусть за неё сами и отвечают, а художники должны рисовать то, что сердце подсказывает, и уметь рисовать, ибо это – самое главное... По моему мнению, наимничтожнейший талант стóит дороже великолепнейшей доктрины, а наивеликоленнейшая доктрина недостойна чистить башмаки свободе.

Х

Мы были с Казей и Сусловскими на выставке.

Перед моею картиной постоянно толпа.

При нашем входе все начинают шептаться, причём больше смотрят не на картину и не на меня, а на Казю. Я заметил, что она была несказанно довольна общим вниманием, но не ставил ей этого в вину. Вот это нехорошо, что она назвала картину Святецкого «неприличной». Сусловский заявил, что она предвосхитила его мысль, но

я пришёл в бешенство: неужели у Кази такое воззрение на искусство?

Со злостью я простился с ними тотчас же, и под предлогом, что мне нужно видеться с Остшинским, я действительно пошёл к нему, но за тем, чтоб утащить его обедать.

Перевод Вукола Михайловича Лаврова

Примечания

1 за Родину (лат.).